

Вяч. Шишков



АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 21 сентября (старого стиля) 1873 года в городе Бежецке Тверской губернии. Мой дед со стороны отца — помещик Бежецкого уезда Дмитрий Алексеевич Шишков, а бабушка — его крепостная, крестьянка села Шишковой Дубровы, Елизавета Даниловна. Мой отец, Яков Дмитриевич, жил в избушке своей бабушки, грамоте учили его дьячок и священник. Он с малых лет был привезен в город и отдан в «мальчики» к гостинодворцу, купцу Первухину.

Отмаявшись пять лет, отец мой не пожелал остаться у Первухина, а уехал в Петербург, где прослужил лет пятнадцать — сначала приказчиком, потом доверенным какого-то магазина в Апраксином Дворе.

По письму от Первухина отец едет в Бежецк. «Вот, Яков, — сказал ему Иван Иванович Первухин, — выбирай любую из трех моих дочерей, женись, бери лавку, дом и торгуй, как хозяин, а я скоро умру».

Отец выбрал младшую дочь купца, Екатерину Ивановну, которая и стала моей матерью. Старик Первухин действительно скоро умер, наследство было не ахти какое: деревянный старый дом на Воздвиженской улице и лавка с «красным» товаром в Гостином Дворе.

Но крепко налаженная торговля скоро пошатнулась, отцу пришлось выделить из общего дела по пяти тысяч рублей двум своим свояченицам, вышедшим замуж.

Я рос в городе, летом же уезжал в деревню к бабушке, где и прогацивал до поздней осени. Я очень любил бабушку и любил деревню. Дуброва расположена среди высоких холмов, покрытых густым хвойным лесом. Почти каждый день мы с товарищами ходили в лес, в горы, по грибы, по ягоды. Товарищами моими были кре-

стьянские парнишки, два поповича (Алексей и Николай Морковины) и сын дьячка.

Жилось весело, шумно, и осень, когда нужно было ехать в город, всегда встречалась слезами.

Избушка бабушки маленькая, покривившаяся, вросшая двумя окошками в землю, но она до сих пор живет в моей памяти, как светлая сказка.

Запомнился мне и брат бабушки, Никита Данилович, высокий, лысый, широкобородый старик; изба его была рядом с нашей. Он был широкоплеч и силен, говорил густым басом; осенью он брал меня с собой в ригу, где всю ночь мы с детворой пекли картошку, веселились, слушали его сказки.

В нашей избежке жила сестра бабушки, старуха лет шестидесяти пяти, Анна Даниловна. Она любила побрюзжать, ласково поругаться, но ругаться не с кем, — ругала своего кота. Земли у нее не было, жила в крайней бедности, принимала у рожениц ребят, опрыскивала с уголька, с окатных камушков. Я любил мыться с нею в печке (бань в селе нет), — она растирала меня свежим веником, окачивала водой с причетом, с заклинаниями от нечистой силы.

Когда дела отца пошли хуже, по летам в деревне стало жить не так вольготно и сытно. Помогали крестьяне, иногда из барского дома ключница приносила продукты и яблоки. Анна же Даниловна, в праздничные дни, брала в руки клюшку и, высокая, сутулая, в сером домотканом зипуне, отправлялась по миру, по окрестным деревням. Возвратившись поздним вечером, уставшая, она вынимала из кошелья подаяние и давала мне самые сладкие куски, крича басом: «Нá-ка, нá, ангельская душа! Забыл тебя отец-то... Пьянствует, должно быть... Нá с изюмом!.. Ишь ты, как лисенок, отощал!»

Сначала учился я в частном пансионе, потом поступил в городское училище с шестилетним курсом.

Отец мой — малообразованный, мать тоже, разговоров о литературе, о писателях у нас в доме не могло быть, я не задумывался над тем, как делаются книжки, и вдруг, каким-то необъяснимым чудом меня потянуло писать.

Первая работа — «Волчье логово» — повесть из разбойничьей жизни, вторая — описание крестьянских «посиделок» (бесед) с плясками и песнями. Обе штучки были написаны мною в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Когда я был в пятом классе городского училища, помню, учитель словесности А. П. Павлов прочел вслух мою классную работу — «Утро в деревне» — и поставил «пять». С тех пор, вплоть до самого зрелого возраста, я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем. Правда, впоследствии, когда техническая деятельность столкнула меня в юных годах с народом, я всегда имел под руками записную книжку, куда заносил меткие словечки, структуру фраз, песни, делая это совершенно инстинктивно.

Домашняя обстановка была такая: мы помещались в четырех комнатах верхнего этажа. Братьев и сестер у меня было очень много. Родилась Вера — умерла. Родилась другая девчонка, названная в честь первой Верой, — умерла. Родилась третья Вера, — умерла. Тогда решили, что это имя роковое, четвертую девочку назвали Антониной, — тоже умерла. Теперь в живых, кроме меня, две сестры, два брата; я — старший. Жила с нами слепая старуха Федосья Ивановна, дальняя родственница матери. Очень богомольная. Она в молодости хаживала по святым местам, была в Киеве, у Троицы-Сергия и, кроме сказок, рассказывала мне весьма образно и душевно про свои путешествия, про жития святых. Это повлияло на мое воображение, и я решил сделаться святым, в крайнем же случае — священником или архиереем.

Частенько я накидывал на плечи скатерть, на голову надевал из картона камилавку и служил молебен в присутствии всех домочадцев, причем кричал на них, чтобы они молились, сам же работал за попа, за дьякона и хор. Иногда хоронил по православному обряду мертвых птичек, лягушек. Однако религиозное настроение не помешало мне, в компании сверстников, самым жестоким, зверским способом убить кирпичами не додавленного веревкой кота, который и был похоронен с честью, тоже по православному обряду.

Лет семи я обвенчался с кухаркой, краснощекой Матреной, брак был по любви, венчание происходило во дворе, в весенний праздничный день. Мне очень трудно было поспевать и за жениха и за попа, невеста покатывалась от хохота, хохотала мать из окна, смеялся и муж Матрены — наш приказчик. Обручальное медное кольцо у меня на второй день задухло на пальце, приказчик распиливал напильником, отец хотел меня драть, но за-

ступились бабушка и мать. Второй раз отец обругал меня и замахнулся арапником, когда я, уже лет тринадцати, заявил о своем желании уйти в монастырь спасти душу.

У меня была страсть к книгам, я завел библиотечку из разной сытинской и манухинской дребедени, составил каталог и насильно выдавал книги для прочтения, по три копейки с книги, обращая медяки на пополнение библиотеки. Тех, кто отказывался читать,— презирал или лез с ними драться.

В нижнем этаже помещались: кухарка, три приказчика и сподручный мальчик Миша. Я любил спускаться к ним: там было весело; один из приказчиков занимался вечерами переплетным делом и хорошо пел разбойничьи песни, другой показывал фокусы, третий был всегда выпивши. Отец запрещал эти визиты. С мальчиком Мишей Куликовым, который был старше меня года на четыре, мы состояли в большой дружбе. Его мать, землячка моей бабушки, работала на одной из табачных фабрик Петербурга. После ее смерти осталось два ребенка, одного из которых, Михаила, моя бабушка, по большому своему сердцу, бедствуя сама, взяла на воспитание. Михаил, живя впоследствии у нас в качестве мальчика и называя отца «дяденькой», окончил курс уездного училища; он был замечательный рисовальщик, поехал по настоянию учителей в Петербург, чтобы продолжать образование, но вместо того поступил на службу в банк и, катаясь на лодке по взморью, утонул лет тридцать пять тому назад. «Ну, значит, не судьба»,— сказал отец, получив известие о катастрофе. Я впервые тогда по-настоящему призадумался над жизнью, и понятие «судьба», наполнившись трагическим содержанием, крепко засело в моей душе.

Мой отец был страстный охотник, он всегда держал несколько породистых собак и много ружей. Большой любитель природы, он часто брал меня с собой на охоту. Эти радостные поездки, всегда дававшие массу впечатлений, запомнились мне с детства. В Бежецке стояли запасные эскадроны — лейб-гусарский и лейб-уланский. Офицеры, любители покутить, свели компанию с отцом, ездили с ним на охоту, бывали у нас в гостях. Такое знакомство очень льстило отцу: князь Хованский, барон Стандершельд, красавец поручик Панютин и другие; мать же проливала слезы: отец торговлю забросил, стал

попивать, приказчики тащили товар всяк себе, лавка пустела. В конечном счете, когда эскадроны из Бежедка перевели, уехали и офицеры, задолжав отцу порядочную сумму. Дело покачнулось окончательно: из Москвы и Петербурга приезжали доверенные фирм, где отец кредитовался, грозили приступить к описи имущества.

Дважды присылаемая стариком Шишковым денежная крупная помощь не спасла положения; отец рассчитался до копейки со своими долгами и торговлю прекратил. Наша семья, превратившись в семью мещан, стала бедствовать. По своему добродушию отец распустил в долг крестьянам товару тысячи на две. Помню, мы наняли лошаденку и поехали с отцом по первопутку собирать долги. Потеряли времени неделю, привезли домой рубля два-три. Отец долговую книгу бросил в печь и запил по-настоящему. При такой обстановке я кончал курс городского училища и готовился к конкурсным экзаменам в Вышневолоцкое техническое строительное училище. На следующий год умерла бабушка, а два года спустя и помещик Шишков. Его похоронили возле церкви, незабвенная же моя бабушка легла рядом с мужицкой костью, на деревенском кладбище, среди зеленых ив.

Д. А. Шишков — помещик средней руки, штаб-ротмистр в отставке. По отзывам крестьян, он был неплохим человеком, с крепостными обращался хорошо. Я встречался с ним трижды. Первый раз, когда со сверстниками-мальчишками возвращался из лесу. Старик на беговущках ехал в лес. «Барин, барин едет!» — закричали мальчишки и бросились отворять ворота. «Вячеслав, это ты?» — Старик поцеловал меня, потрепал по щеке и дал яблоко.

Второй раз — он призвал меня темным осенним вечером. Он жил тогда в отдельном от барского дома обширном флигеле в большом яблоневом саду. Я учился в первом классе технического училища. Просидели за чаем до полночи в живой беседе о предстоящей мне жизни. «Все инженеры и техники — взяточники. Ты не будь таким. Коли твой отец осрамил меня на весь уезд своим пьянством, то хоть ты-то...» Я защищал отца, называя его честным, хорошим и уж не таким пьяницей, как это кажется со стороны. Старик сказал: «В пьянстве можно утопить всякий талант, всякий порыв души».

Третий раз — незадолго до смерти старика. Я, по его

поручению, составлял проект часовни на кладбище. Старик был очень болен. Я собирался тогда ехать на строительную практику в Сибирь, где производились изыскания Сибирского пути. Он резко запротестовал: «Там тебя комары съедят, медведи задерут». И дал мне прочесть статьи «Нового времени» об ужасах жизни изыскательских партий в Сибири.

Многочисленная наша семья продолжала бедствовать, иногда буквально голодая. Отец пробовал служить приказчиком. Помощи из дома мне не было, и я очень нуждался.

Техническое училище, которое я кончал, было с пятилетним курсом, из коих два года строительной практики. Я был командирован, в качестве практиканта, в Новгородскую губернию, на постройку Березойского бейшлота. С этого момента начинается мое знакомство с народом. Следующим этапом моей работы был Опеченский Посад, изыскания реки Мсты, жизнь в Новгороде и Вологде. Должен отметить свое путешествие на казенном пароходе с Иваном Кронштадтским (Сергиевым) из Вологды в село Суру, что на реке Пинеге, на родину отца Ивана. Дело было так: из Министерства путей сообщения пришел приказ предоставить пароход в распоряжение Ивана Кронштадтского, для его следования на родину. Чтобы как-нибудь оформить этот незаконный огромный пробег парохода, мой начальник командировал меня якобы для маршрутной съемки реки Пинеге. С Иваном Кронштадтским мне пришлось пробыть вместе две недели — ежедневно сходились в кают-компании за столом. Свита его: фанатично преданная ему пожилая горбунья из Ярославля, надоевшая всем нам, а больше всего отцу Ивану; его племянник — корявый, рыжебородый, крепко сложенный человек, не дурак выпить, темный делец, извлекавший большую для себя выгоду именем своего дяди; иеромонах Геннадий, тучный тунеядец, обжора: «Меня сам отец Иоанн благословил мясо есть», — и еще три молодых студента духовной Академии. Иван Кронштадтский держался очень просто, ханжества в нем я тогда не замечал. С Архангельска, когда к нам присоединился молодой архиерей, обеды приняли оживленный характер: архиерей забавлял нас потешными анекдотами из духовной жизни, отец Иван с укором говорил: «Сразу видно, что вы, владыка, светский человек». Куп-

цы, при проводах Ивана Кронштадтского из Архангельска, пожертвовали много вина — отец Иван выпивал с нами две-три рюмки хересу. В то время ему было лет шестьдесят пять, сухощавый, прямой, румяный, всегда взволнованный и нервный. Я тогда был по-юношески религиозно настроен, жаждал чуда, но чуда не было. На всем тысячеверстном пути выходили на берег массы крестьян, кричали идущему пароходу: «Отец Иван, благослови!» На стоянках, где брали дрова, он шел в сплошную гущу народа, раздавал деньги; мужики и, в особенности, бабы хватали его за рясу, он иногда спасался бегством. Когда мы подошли к селу Суре, конечному пункту путешествия, весь берег был усыпан народом. Народ бросился в воду, по пояс, по горло; капитан растерялся: «Под колеса попадете, под плицы!» И команда в машину: «Стоп!» Мужичьи бороды всплыли; народ, захлебываясь, кричал: «Давай чалки! Мы на себе!.. Ох ты, кормилец наш!..» Отец Иван, как я узнал много лет спустя, принес землякам, помимо своей воли, большой вред. Он платил за все село подати, помогая деньгами. Мужики забросили землю, стали повально пьянствовать; когда же благодетель помер, они оказались в крайней нищете: земля запущена, инвентарь поломан, скот съеден, пропит.

Эта поездка с человеком, которого все считали святым, произвела тогда на меня большое впечатление. И я, когда попал на ремонт плотины «Знаменитой» (возле Кубенского озера Вологодской губернии), занялся спасением народа. Из скудного своего жалования я покупал беднякам сапоги. Как-то старик рабочий стал корить меня: «Что ж ты этому пьянице дал, он все равно пропьет... Лучше дай мне, у меня грыжа». Меня печаловала деревенская грязь, свара, бедность, взаимная ненависть, пьянство, я решил заняться проповедью. В свободное от работы время, глубокими вечерами и праздниками, я ходил по окрестным деревням, собирал народ в избы и поучал от евангелия. Бабы плакали. Слава моя крепла. Старуха Дарья, черная, большеголовая, страшная, заявила мне, что она порченная — кричит петухом, а как станет на молитву — начинает ругать Христа и угодников, — не могу ли я выгнать из нее беса? Я сказал, что это нервы, надо лечиться, бесов нет, и что я вообще чудес не признаю. Мое апостольство закончилось большим для меня конфузом: я влюбился в красивую молодую бабу,

притом же замужнюю. Тут я понял, что праведником в девятнадцать лет быть очень трудно.

Кончив практику, я получил звание техника и, побыв дома, поехал в конце 1894 года на службу в Сибирь, в Томск, в округ путей сообщения. Отец мой остепенился и совершенно бросил пить вино. Умер он в 1921 году. Моя служба первые два-три года была малоинтересная, кабинетная, зато личная жизнь получила иное направление. Я сдружился со студенческим кружком, часто посещал сходки, тайные вечеринки с рефератами, диспутами, словесной прей социал-демократов и социал-революционеров и, конечно, с выпивкой. Политика меня мало интересовала, но жизнь молодежи была мне по душе, я с рвением собирал деньги по запретным подписным листам на нужды революции. Много читал. Женился на курсистке Анне Ивановне Ашловой, прожил с ней менее двух лет и разошелся.

Два года работал в качестве простого техника (нивелировщика и съемщика) в партии по исследованию реки Оби. В начале 1898 года стал готовиться к экзамену на право самостоятельного производства инженерных работ. В полтора года усиленных занятий я эту премудрость одолел. С тех пор мне поручались ответственные технические работы.

Лето, кажется, 1903 года ушло на поездку на Обь-Енисейский канал, в таежную, комариную, с остяками, местность. В 1904 году исследовал реку Чарыш. В 1905-м заведовал партией по исследованию реки Чулыма. В октябре того же года пережил в Томске еврейский погром, сожжение театра и управления железной дороги, где сторело и было убито множество служащих и студентов. Громил черная сотня, при поддержке властей (губернатора Азанчевского-Азанчеева), с благословения потерявшего голову архиерея Макария (впоследствии — митрополита московского). Картина была потрясающая. Плающее здание окружено густой цепью солдат. У самого здания разведены костры, черная сотня караулила выходы, стояла по углам. Запертые люди высовывались, в клубах дыма, из окон четвертого этажа, их расстреливали солдаты. Некоторые смельчаки умудрялись спускаться с крыши по водосточным трубам, их сшибали черносотенные дубинки и тут же превращали в куски мяса. За цепью солдат вся площадь запружена безоружным

народом. Многие плакали, истерически кричали, но никакой помощи оказать было нельзя: черная сотня и здесь имела свои уши и дубинки. Так продолжалось всю ночь. Следующие два дня прошли в погромах. Меня вдруг потянуло описать эти пережитые мною три дня. И я это сделал. Я жил тогда в семье учителя гимназии П. М. Вяткина и его жены Татьяны Леонтьевны. По моей просьбе они дали приют моему бывшему рабочему и приятелю Егору Кононову (наборщик, жил нелегально по чужому паспорту). Я боялся обыска (начались репрессии), рукопись я уничтожил и аршинный медвежачий револьвер свой закопал в сугроб.

Летом 1906 года, с начальником Б. А. Аминовым, честнейшим, преданным делу финном, ездил с техническим поручением на реку Иртыш к Семипалатинску, знакомясь по пути с бытом иртышского казачьего войска, киргиз и колонистов-немцев.

В 1908 году был командирован заведовать исследованиями порогов на реке Енисее. Здесь удалось мне познакомиться с жизнью золотоискателей на Некрасовском прииске. Меня снова потянуло писать, совершенно неожиданно и неудержимо. Мощная река, грохот ее на порогах, рыбацья деревенька Подпорожная, небывалая гроза с ослепительной молнией, разразившаяся при моем ночном возвращении из поселка Казачинского,— все это подействовало на мое воображение, и я засел за писание. Рассказик получился так себе, и я его выбросил, но это меня не смутило, чесались руки писать еще и попытаться пристроить в печать. В октябре того же года справлялся двадцатипятилетний юбилей педагогической деятельности Вяткина. Я написал символическую сказочку «Кедр» с посвящением юбиляру и снес в редакцию газеты «Сибирская жизнь». Мне было 35 лет, но когда появилась в печати моя вещичка, я радовался, как ребенок.

В семье Вяткина прожил около семи лет, с большой пользой для себя: он был словесник, у него нередко собирались наиболее талантливые учителя двух гимназий и реального училища; за чаем, за пельменями велись оживленные беседы на литературные, а иногда на политические темы.

Весной 1909 года был командирован вместе с инженером С. А. Жбиковским в далекий Якутск для укрепления

ния берега реки Лены в черте города. Поездка туда заняла около месяца. Останавливались в селе Витимском (при впадении в Лену реки Витима, в системе которого — Ленские прииски). Одна из моих памятных книжек исписана сведениями, как в этом селе грабили, обирали дочиста приисковых рабочих, возвращавшихся осенью домой. Мне показывали стоявшие над самой водой притоны-избы с люком из подполья, откуда сбрасывали захмелевших и обобранных гуляк прямо в Лену. Останавливались и в селе — кажется, Спасском — многочисленной колонии ссыльных скопцов. Это довольно предприимчивый, трудолюбивый народ со своеобразным укладом искалеченной жизни. В стране вечной мерзлоты они умудрялись снимать хорошие урожаи хлеба, выводить арбузы и дыни на удивление мужикам, не без выгоды заниматься молочным хозяйством, быстро богатеть. Один из них даже оборудовал большую паровую мельницу.

В Якутске, где пришлось пробыть все лето, я близко познакомился с местной колонией политической ссылки и бытом якутов. При мне прибыла так называемая плавающая ярмарка. Зрелище редкое. Лена здесь восьмиверстной ширины. На ее глади вдруг показались под белыми парусами сорок белых барж. Это иркутские купцы с ранней весны сплавляются вниз с товарами, останавливаясь в попутных селах. Последний пункт — Якутск. Здесь все ликвидируется, баржи идут на слом, а обогащенные торговые люди возвращаются домой. Чиновникам города Якутска выдается вперед за полгода жалованье, чтобы они могли запастись продуктами.

Борьба с рекой предстояла большая. Вечная мерзлота была вровень с горизонтом воды и ушла вглубь. Вода как пилой подпиливала илисто-песчаный берег. Подмытые глыбы, иногда на протяжении двухсот сажен, рушились сплошной массой с высоты в реку. Случившийся при нас обвал — как залп ста орудий — так взбуровил воду, что обратная волна хлестала вверх по течению, и стоявшие в пяти верстах выше города ярмарочные баржи заиграли, как поплавки. Рабочими моими, кроме якутов, были тридцать человек политических. В первый же день работы у меня украли бинокль Цейса. Мне пришлось по душе два грузина и студент Казанского университета Полозов, он приехал сюда чуть ли не в по-

следнем градусе чахотки и в суровом, сухом климате превратился в цветущего здоровьем молодца. Один грузин — высокий, красивый; другой — низенький, коренастый, с зверским выражением лица, но с доброй душой. Он несколько лет тому назад работал в Турции с младотурками, знал турецкий язык, всегда ходил в чалме. При его помощи можно было объясниться с якутами: якутский язык имеет много тюркских корней. За неделю до нашего отъезда ко мне пришли оба эти грузина и стали упрашивать добыть им из городской аптеки азотной кислоты для приготовления ручных бомб; они якобы собирались бежать: «Тебе по казенной бумажке отпустят, а нам нет». Я отказался: это возбудит подозрение, это опасно. Они приходили ко мне каждый вечер, и требования их становились все настойчивей. Я не уступал. Коренастый вскакивал, хватался за кинжал, щелкал зубами, опять садился: «Неужели ты думаешь, что мы польстились заработком и работали такой адска работа два месяца? Мы сразу увидали, что ты наш и ты нам можешь». Я знал, что в Якутск ожидается на днях иркутский генерал-губернатор Селиванов, известный тиран и гонитель свободы, и догадывался, что мои грузины умышляют убить его. Вот, думаю, заварится каша, и я влипну с головой. Но они меня так терроризировали, что я добыл им в областном управлении бумагу на приобретение азотной кислоты для технических надобностей и притащил им целую четверть. Генерал-губернатор встретился нам по дороге, когда мы возвращались из Якутска. До самого Томска я очень волновался. А на другие сутки по приезде в Томск я был чуть свет разбужен криками: «Ваши документы! Сидите, не шевелитесь!» Я ментально вспомнил про Якутск и обомлел. Но обыск никаких результатов не дал, меня оставили в покое, я с перепугу даже забыл спросить о причине обыска.

Осенью того же года кружком литераторов, с поэтом Георгием Вяткиным во главе, был основан журнал «Молодая Сибирь». Я дал рассказ «Бабушка потерялась» и, сдружившись с Г. Вяткиным, принял близкое участие в журнале. Денег у нас не было, собирали, как на погорелое, по знакомым и состоятельным людям, с унижением. Вскоре журнал закрылся.

Стал заниматься с взрослыми безграмотными в так называемой «воскресной школе», школа преследовалась

властями, за всеми преподавателями был учрежден негласный надзор.

Я послал журнал с рассказом «Бабушка потерялась» В. Г. Короленко, он рассказ одобрил, просил еще что-нибудь прислать для «Русского богатства». Но для литературной работы у меня совершенно не было времени.

Рабочий период 1910 года я заведовал партией по исследованию реки Бия на Алтае, от истоков ее из Телецкого озера (Алтын-куль) до устья. Работа была чрезвычайно опасная — Бия бушевала в своих многочисленных порогах, — но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаков-староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (кáмы) во время моления в глухих и горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись за концы арканов, раздирали ее живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из ее живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме. Интересен национальный теленгитский праздник, где состязались три дня — три ночи народные певцы и сказители былин (рапсоды).

Ранней весной памятного для меня 1911 года выехал во главе экспедиции на реку Лену, в село Чечуйское (под Киренском). Экспедиция обследовала по трем вариантам водораздел между Леной и Нижней Тунгуской, для выяснения вопроса о соединении обеих рек каналом. Работа была мучительная: тучи болотных комаров отравляли жизнь, лица у всех вспухли, у одного рабочего совершенно затекли глаза.

В конце мая перебрались на Нижнюю Тунгуску, в деревню Подволочную. Здесь перезнакомился с политическими ссыльными, с одним из них, М. И. Ткаченко, установились дружеские отношения, продолжающиеся до сих пор. Пополнив сформированную в Томске партию несколькими местными крестьянами и насушив пудов полтора ста сухарей, мы поплыли вниз на двух приспособленных для жилья и геодезических работ шитиках. Цель экспедиции: произвести полуинструментальную съемку и промеры, для выяснения условий судоходства на всем протяжении этой реки (2500 верст), до впадения в Енисей, где в середине сентября нас должен ждать ка-

зенный пароход. К сожалению, расчеты наши не оправдались, вместо четырех месяцев мы застряли на восемь, и едва не погибли. Условия жизни были каторжные, работа опасна, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за нее судьбе.

Все русское население этого края, 2500 душ, осело на реке, в двадцати деревушках, а дальше, в глубь от берегов — тысячеверстные площади необитаемой тайги с бродячими тунгусами. По словам столетнего, но крепкого старика, первые насельники появились здесь, «когда Петр царем служил». Полная изолированность края (отсутствие дорог) является причиной того, что уклад жизни XVII—XVIII веков сохранился здесь до наших дней. Мне удалось записать 87 старинных «проголосных» песен и былин, изданных в 1912 году Иркутским Географическим Обществом. В селе Преображенском — опять колония политических ссыльных, среди них — сибирский писатель Исаак Гольдберг, с которым я пробыл три дня. Двое из ссыльных женились на дочерях местных торгашей, ездили по тайге и обирали тунгусов; «без дела скучно», — оправдывались они; один, ницшеанец, всегда ходил с собакой и томиком Ницше под мышкой, сошелся с молоденькой тунгуской и бродил с тунгусами. Незадолго до нашего приезда его труп случайно нашли в тайге: он застрелился, упал в костер и обгорел.

Где-то поблизости от реки был таежный пожар — тайга иногда пылает на сто, на двести верст, — мы двигались в сплошном дыму, и солнце казалось низким, красным. В половине августа мы приплыли в последний населенный пункт, Ербогочен. Дальше, на расстоянии 1800 верст, — полнейшее безлюдье и совершенно неведомая по своему характеру река; она стала широкой, но очень мелкой, порожистой. Крестьяне потребовали расчет, ушел и лоцман Фарков: «Лучше дома умереть, чем плыть в такую погибель. И вам, дружки, не советую: скоро холода пойдут, каюк вам будет». С этого дня мы были предоставлены самим себе и очертя голову поплыли вперед. Река то бешено мчала нас по неизвестному фарватеру, шитики со всего маху ударялись о подводные камни, с риском проломить дно и затонуть, то вдруг от берега до берега поток воды преграждался огромной песчаной мелью: шитики тогда разгружались, груз пере-

таскивался берегом версты за две, к глубокому плесу, затем все раздевшись волокли на себе оба шитика, прогребая холодную борозду среди камней и гальки. Было холодно, мы коченели, но греться у костра некогда, сразу в весла, в путь. Подул встречный ветер, шитики тянуло назад. Ломались весла, трещали шесты, которыми мы отталкивались, и после каторжной работы мы за целый день продвинулись вниз по течению сажен на сто. Ветер дул целую неделю, мы не подались вперед и на версту. Когда утихла погода, разбились на два дежурства, по пять человек, и, совершенно прекратив геодезические работы, мы плыли день и ночь, не причаливая к берегу и работая до кровавых мозолей. Становилось все холоднее. В туманных сумерках встретили грохочущий порог, в нем камни лежали как киты, вода кипела. Нас втянуло туда насильно, и до сих пор не понимаю, как мы остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, очень обрадовались, но он сказал: «Худой твоя дело... Сдохнешь. Надо весна ждать, большой вода». Мы теряли мужество. 4 сентября выпал снег, вода у закрайков замерзла, шитики обледенели. А впереди полторы тысячи самых трудных верст. Назад же вернуться немислимо. На стремнинах шитики летели быстро, мы в крайнем напряжении следили за беляками, чтоб не разбиться вдребезги о камни. Ночами не спали, плыли среди мрака неизвестно куда; наконец, измучившись, излобившись, мы причалили к берегу и провели ночь в мертвецком сне. К утру шитики вмерзли, и все тихое плесо было покрыто тонким льдом. С проклятием пробивались через лед версты две до быстрого плеса. 7 сентября, возле устья реки Илимпеи, увидели на берегу жилье и амбар, копошились людишки. Мы закричали «ура» и повернули к берегу. Людишки, приняв нас за шайку разбойников, стрелглав бросились в тайгу, но через час вышли на наши призывы. Это — торговый стан молодого Валентина Суздалева, сына ангарского купца. Кроме него, здесь жили два работника, стряпка и девушка Таня. Суздалев сказал: «Я вас дальше не пущу. До Енисея 1300 верст, при самых благоприятных условиях вам не проплыть и половины. Ждите прихода тунгусов». Дней через десять пришли с караваном оленей тунгусы за товарами. Суздалев с большим трудом упросил их вести нашу экспедицию через тайгу, на юг, по направлению к Ангаре. 25 сентября,

когда реку сковало толстым льдом и крутила вьюга, мы вышли в путь с караваном в пятьдесят голов вьючных и верховых оленей. Верст через сто встретили стойбище тунгусов с оленьими стадами. Наши проводники распрощались и ушли. Лаской, угрозами, деньгами мы стали улаживать этих новых тунгусов вести нас дальше. Они отказывались. Им деньги — тьфу! — у них начинается беличий промысел, этот месяц их целый год кормит, — нет, они не могут вести, пусть русские возвращаются обратно к Суздалеву или остаются здесь. Они долго совещались ночью у костров. В их гортанных выкриках слышались угрозы бросить нас; мы прислушивались, приглядывались из своей брезентовой палатки и холодели. Нам угрожала неминуемая гибель: без проводника, без оленей не двинуться. У нас было три ружья. Мы решили, в крайнем случае, объявить войну, но тунгусы — человек пятнадцать — сами замечательные стрелки. Ночь провели без сна. Крики у костров продолжались, перед утром смолкли. Утром, в полумраке, кто-то из нас крикнул: «Тунгусы уходят!» Мы схватили ружья и выскочили на воздух. Тунгусы поспешно вьючили оленей. Уходят, бросают нас. Что ж нам делать? Старик Ульканча подошел к нам и хмуро сказал: «Моя твоя поведет. Пойдем». Мы бросились целовать тунгусов и тунгусок и чуть не плакали. Мы шли не только без дорог, но даже без тропинок, напрямиком. Я удивлялся живущему в тунгусах сверхъестественному чувству направления. Мы набрели на новое стойбище, где шаман Гирманча волховал над больным стариком тунгусом. Мы всего прошли тайгою верхами на оленях и пешком семьсот верст, употребив на это сорок дней. Снег был выше колена, мороз до 25 градусов по Цельсию, питались лосиным («сохатыным») мясом, оленьей, остатками сухарей. Спали в снегу, у костров, никто не хворал (кроме Мозгового), даже не было насморка. Когда же добрались до теплых изб села Кежмы (на Ангаре), зачихали и закашляли. Наш путь с тунгусами кратко не опишешь; он напитал мою душу незабываемыми впечатлениями. Экспедиция прибыла в Томск 24 ноября. Нас, конечно, считали погибшими. Весной и летом я с пути послал в «Сибирскую жизнь» несколько путевых очерков.

Этой же зимой впервые познакомился с известным ученым-путешественником по Азии и в свое время от-

бывшим каторгу в Свеаборгской крепости, знаменитым сибиряком Григорием Николаевичем Потаниным, а через него с профессорским миром и передовой интеллигенцией города Томска.

С этого времени моя жизнь как бы приподнялась над обычной средой и стала наполняться иным содержанием. У Потанина еженедельно собирался кружок его близких, хозяин увлекательно рассказывал эпизоды из своих многочисленных путешествий, делился впечатлениями о встречах с замечательными людьми России и Европы; иногда кем-либо из участников читались рефераты на литературные, философские и иные темы. Потанину было тогда 75 лет, но он был достаточно крепок, и ум его оставался светлым. К его голосу прислушивалась вся Сибирь. На одном из потанинских вечеров я познакомился с беллетристом, уже известным в Сибири, Г. Д. Гребенщиковым, который принял самое горячее участие в моих литературных начинаниях и стал моим другом.

Однажды я прочел Потанину свой рассказ. Он одобрил, просил прочесть в собрании, я стеснялся. «Вам надо писать и писать. У вас есть еще рассказы? Вы посылали в столицу?» Я ответил, что выступать в столичной печати считаю пока преждевременным. Под влиянием Потанина, 1912—1913 годы, урывками от службы я занимался писательством и пополнением образования.

Летом 1912 года поехал ненадолго в Петербург, где, в новом журнале «Заветы», появился мой первый журнальный рассказ из тунгусской жизни — «Помолились». Этот год и надо считать началом моей литературной деятельности. Познакомился с Р. В. Ивановым-Разумником. Он сказал: «Ваш рассказ понравился Ремизову. Он приглашает вас к себе». А. М. Ремизов встретил меня радушно. Ласковость этого большого писателя тронула меня, жителя тайги. А. М. Ремизов наглядно учил меня, как надо писать, в чем секрет красоты стиля и душа языка. Его глубокие замечания впервые прозвучали для меня как откровение. Тому же самому, только иными словами, учили меня Р. В. Иванов-Разумник, М. М. Пришвин, В. С. Миролюбов, М. В. Аверьянов. И я понял, что из провинции, где нет надлежащего художественного руководства, мне надо перебираться в столицу. Того же мнения была и переводчица К. М. Жихарева, которая с 1914 года становится моей женой.

В 1912—1914 годах в «Заветах» и «Ежемесячном журнале» появляются мои рассказы: «Суд скорый», «Ванька Хлюст», «Чуйские были», «Крала».

С весны 1913 года я стал заведовать Чуйской партией. Мне было поручено произвести подробные технические исследования торгового Чуйского тракта, пересекающего горный Алтай от города Бийска до границы Монголии. Цель изысканий — переустройство безграмотно проведенного весьма важного пути. Партия была разбита на два отряда, по тридцать человек в каждом, и работала рабочие периоды 1913 и 1914 годов. Мне все время приходилось поддерживать связь между отрядами, передвигаясь по убийственным кручам верхом. Алтай поражает своей строгой величественной красотой. Вид увенчанных вечными снегами Чуйских Альп и реки Катунь — незабываем. Или Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на полсотню верст, кажутся стоящими рядом с вами — до того чист, прозрачен воздух. Или озеро Кеньга, в долине которого — калмыцкое царство, с князьками, владеющими сорока тысячами голов лошадей. Мне удалось присутствовать на калмыцком празднике — «Той» — и я перенесся во времена Тамерлана. Борьба, конские состязания, а к вечеру, при мерцающих звездах, на берегу озера запылали костры, в невиданных котлах варились чуть не по целой лошади, голые по пояс калмыки огромными жердинами ворошили в котлах хлебово, время от времени ошарашивая этими жердинами снующих тут же многочисленных собак; ночью — крики, драки, песни, пьяная гульба.

Калмыки и теленгиты уже бросали культ шаманства и, под влиянием своего мессии Чет-Челпана, переходили в бурханизм (упрощенный буддизм); однако мне приходилось встречать и шаманов (камов). Кроме очерков «По Чуйскому тракту», Алтай дал мне пока ряд мелких рассказов — «Чуйские были», и написанную в 1917 году повесть «Страшный кам» (шаман). Перед моими глазами прошла мобилизация на германскую войну. Патриотического подъема, о котором всюду писалось, не было, — были слезы, проклятия, буйства, погром винных лавок.

Весной 1915 года я побывал в нескольких деревнях. Накопились впечатления для драмы «Вихрь» (1920 год).

В начале 1915 года, при помощи начальника Томского округа инженера Н. В. Попова, я стал готовиться к

переводу в Питер, в Министерство путей сообщения, для составления проекта переустройства Чуйского тракта. Г. Н. Потанин, которого я посещал почти ежедневно (я очень любил его, и мы друг к другу привязались), встретил известие о моем переводе с истинной горечью: «Это измена Сибири. Вы забудете Сибирь. Вы ей нужны. Она так бедна талантами». Я отвечал, что в Сибири я прожил двадцать лет, это вторая моя родина, пожалуй, не менее близкая и понятная сердцу, чем Россия, что я переполнен впечатлениями, которых хватит мне на всю жизнь, что я Сибирь люблю и постараюсь в нее вернуться. Старик прослезился.

Мне, действительно, расставаться с Сибирью было тяжело: близкое знакомство с профессорским миром (Солнцев, Вейнберг, Зубашев, Соболев и другие), личные друзья (Анучин, Бахметьев, Г. Вяткин, Крутовский, Шатилов), моя работа (в составе президиума) в научном Обществе изучения Сибири и местном литературном кружке, а также мои частые выступления на народных чтениях и публичных вечерах — сцепили меня тугими канатами с местной жизнью, меня все знали, я пользовался уважением, имел литературное имя, в Петроград же явился почти круглым нулем, и мне пришлось, так сказать, начинать сначала.

Переезд в столицу состоялся в августе 1915 года. Возобновились знакомства с Ремизовым, Миролубовым, познакомился с Е. И. Замятиным, острым, умным, талантливым человеком, начинавшим расправлять свои литературные крылья. Приехавший из Сибири Г. Д. Гребенщиков подбил меня сходить к М. Горькому. Идти было страшновато: я был по-провинциальному скромн и застенчив. Но опасения рассеялись: хозяин мил, радушен, прост. Однако он подавлял меня авторитетом своего имени и знанием жизни: он так много, сочно, образно рассказывал из своих скитаний, такую проявлял мудрость в обобщениях, что мне казалось тогда, что вся Россия для него как на ладони. И мне необычайно стало радостно, что наша Россия родит таких людей.

В 1916 году представил М. Горькому первую свою крупную работу «Тайга», писанную в 1913—1915 годах. «Тайга» печаталась в журнале «Летопись». Военная цензура кое-где похозяйничала в повести, я пошел объясняться к цензору-генералу. Толстый генерал, к моему изу-

млению, встретил меня чуть не с объятиями: «Ах, ах... Я, знаете, просто зачитывался вашей работой: свежесть, знаете, колорит... Но к чему эти скользкие местечки? Нет, нет, разрешить нельзя. А вот у вас священник... он, во-первых, пьяница, во-вторых — ведет любовные пашни с тучной купчихой... Это невозможно, это поклеп на религию. Вы, конечно, христианин? А знаете что? Не можете ли вы вместо священника вставить дьячка?» Я ответил, что уже напечатано полповести и что теперь очень трудно пока заgrimировать дьячком. «Ну, тогда до свидания», — сухо сказал генерал.

Летом того же года я ездил на две недели в Гельсингфорс, осенью ненадолго в Томск. Г. Н. Потанин физически дряхлел, но душевные силы были те же. Поблескивая плохо видевшими голубыми глазами, расспрашивал меня: «Ну, как настроение столицы, как война, каково настроение рабочих, крестьян, солдат, не пахнет ли революцией? А революция неизбежна»... Я Потанина больше не видал. Он скончался в клинике при университете — кажется, в 1921 году. Советская власть относилась к нему очень хорошо, несмотря на то, что он при Колчаке, сбитый с толку местными политикантами, был идейным противником ее.

Я служил в управлении шоссежных дорог, при Министерстве путей сообщения. Во время Февральской революции шатался по всему городу в качестве русского ротозея. В 1918 году всякую казенную службу бросил и с тех пор отдал себя всецело литературе. (Впрочем, год состоял в репертуарной коллегии Отдела театров и два месяца в такой же коллегии при 7-й армии.) Беспрерывно работал и печатался во все революционные годы.

Покончив с фактической стороной своей биографии, я должен сделать некоторые обобщения. Мои лучшие годы протекли в живом труде, среди разнообразной природы. Я видел всяческую жизнь, но судьба дала мне больше всего присмотреться к жизни простых людей. Я жил бок о бок с этими людьми, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой с ними. Перед моими глазами прошли многие сотни людей, — прошли не торопливо, не в случайных мимолетных встречах, а нередко в условиях, когда можно читать душу постороннего, как книгу. Каторжники и сахалинцы, имевшие за плечами не одно убийство, бродяги, варнаки, шпана, крепкие, кряжистые

сибиряки-крестьяне, новоселы из России, политическая и уголовная ссылки, кержаки, скопцы, инородцы, — во многих из них я пристально взгляделся и образ их сложил в общую копилку памяти.

Я всегда думал, что путь писателя — путь очень трудный и ответственный: истинный писатель тот, кто имеет за собой жизненный опыт, известный комплекс переживаний, умение вызвать в читателе определенные эмоции, — словом, писатель должен *обладать правом* говорить через книги с миллионами народа на протяжении, по крайней мере, десятилетий. И мне казалось, что писатель обязан говорить языком мудро-простым, понятным, обязан указывать народу на вершины человеческой жизни или давать жизнь, для контраста, в отрицательных ее чертах, в провалищах, ограждая бездну горящими маяками. Памятуя все это и учитывая свои скромные силы, я с большим колебанием и уже в зрелом возрасте поддался соблазну заковать себя в позлащенные кандалы литературы. Но я ничуть не обольщаю себя мыслью, что в выборе мною писательской деятельности не произошло труднопоправимой ошибки. Теперь раздумывать об этом поздно.

На меня несомненно влияли любимые мною с детства: Л. Толстой, Гоголь, Пушкин, Г. Успенский, отчасти — Чехов и Короленко.

В своей склонности изображать наиболее понятное мне крестьянство, я должен был в конце концов остановиться на простом, по возможности углубленном слого, освободив его от условной манерности и словесной мишуры, мешающих свободному воспроизведению правды жизни во всей ее естественности. Но, тем не менее, я ценю звучность фразы и всегда прислушиваюсь к своему перу. Что касается формы, то ее всецело определяет содержание, она подвижна, как сама жизнь, как живой поток реки, то медленный, то бурный. Иногда в одном и том же произведении я ломаю форму, меняю ритм и прочее — но это не погоня за модой, это — вынужденная необходимость. Вот и все.